

Глава 1

В Буэнос-Айресе в разгар лета, в конце января 1992-го года четвертый помощник капитана Саша Розов стоял с красным флагом перед советским посольством и проклинал все на свете. Никогда, пусть и в кошмарном бреду, не мог он представить себе, что окажется здесь. Один, забытый и покинутый, в окружении таких же брошенных, отчаявшихся людей.

Город задыхался от жары, над раскаленным асфальтом воздух становился видимым, трепетал, змеился. Узкая улочка перед посольством была совершенно безлюдна. В самый пик сиесты, даже коллеги моряков — бездомные собаки, вечно крутившиеся у ног, отлеживались где-то по углам в блаженной прохладе. Розов изнемогал в своем тельнике, мокром от пота насквозь, ноги подкашивались от усталости, древко флага, казалось, отлитое из чугуна, прожигало предплечье, оттягивало занемевшие руки к земле. Наконец, его электронные часы, еще совершенно новенькие, выменянные Сашей в Порт-Саиде у сингапурского матроса на две бутылки шампанского, пропищали час дня.

— Павлюк! — яростно гаркнул Розов на развалившегося под цветущим деревом моториста, — твоя очередь.

Разомлевший, почти было провалившийся в липкий послеобеденный сон, Данила Павлюк, страдальчески кряхтя, поднялся с мягкой травы и, подковыляв к Саше, забрал тяжеленое знамя. Перед посольством их было двадцать человек. На борту теплохода «Бела Кан» нести вахту остались еще четверо, да единственную в команде даму, повариху Наталью Михалну, галантно пощадили. Была пятница, и все втайне надеялись, что Самойлов сжалится и не погонит их к посольству в выходные.

Розов с наслаждением плюхнулся на примятое Павлюком прохладное место. Спасительной тени на всех не хватало, под посольским особняком росло ровно одно дерево. Но зато какое! Высокое, ажурно-ветвистое, оно было щедро усыпано горстями невиданных лазорево-васильковых цветов. Аргентинцы называли его «хакаранда», и в этом году на радость местным, насаженные по всему городу синие деревья вдруг зацвели второй раз. Саша только прислонил усталую голову к шершавому стволу в надежде задремать, как произошло нечто очень странное.

Старпом Иван Лубнин подошел к капитану Самойлову и попросил папиросу. Брови Самойлова удивленно взлетели — старпом не жаловал табак, это знали все. Даже когда весь офицерский состав набивался в курилку под ходовым мостиком обсудить свежие новости, рассказать пару сальных анекдотов — Иван Николаевич там не появлялся.

Тем не менее, Самойлов вынул из кармана мятую пачку и протянул ему папиросу. Старпом развел руками, мол, нет огонька. На лицо капитана легла тень. Самойлов покачал головой и долго молча буравил Лубнина угрюмым взглядом, потом все же с явной неохотой достал из другого кармана спичечный коробок.

Лубнин отчаянно закашлялся после первой же затяжки, лицо его сморщилось, как от чего-то кислого и крайне неприятного, но нужного. Саша так же кривился в детстве, когда в него силком вливали мерзкую микстуру. Иван Николаевич же будто задыхался, но продолжал курить, быстро и решительно.

Выкинув бычок, Лубнин отвернулся от Самойлова и ни на кого не глядя достал из внутреннего кармана пиджака пластиковую бутылку. Марк Дусь, разбитной веселый матрос, наблюдавший оттопыренный карман у старпома уже пятый день, хихикнул сзади: «О, Чиф таки разжился пол-литрой». Старпом же нервно трясущейся рукой долго мурыжил крышку, та будто нехотя поддалась. Розов со все нарастающей, но еще смутной, подсознательной тревогой наблюдал, как бутылка буквально скачет в скрюченных пальцах. Лубнин глубоко и судорожно вдохнул, будто собирался нырнуть с головой в прорубь, и начал поливать себя булькающей жидкостью с острым запахом.

— Иван Николаевич, — громко произнес Самойлов, и в командирском его голосе четко слышалось недовольство наряду с каким-то неприятным удивлением, — ты никак на солнце перегрелся?

Лубнин обернулся, и Розов буквально вцепился взглядом в искаженное старпомово лицо. Его простая среднерусская внешность — квадратная челюсть, высокий, прочерченный ранними морщинами лоб, узкий рот и мясистый нос — все вдруг неуловимо изменилось, заострилось, вытянулось. Чиф сильно похудел за последний месяц и загорел почти дочерна. А его блондинистые волосы, наоборот, выгорели на солнце, стали пепельными, и серые водянистые глаза смотрелись на смуглом лице белыми пятнами — Лубнин напоминал засвеченный негатив собственной фотографии.

Пустая бутылка бряцнула об асфальт, завалилась набок и шустро выкатилась на дорогу. Старпом посмотрел на Самойлова очень виновато, как будто хотел извиниться. Открыл даже рот, сияясь что-то сказать. И хотя он все-таки промолчал, все его услышали. Разговоры вокруг смолкли. Розов, зрение которого (он физически это ощущал) вдруг нечеловечески обострилось, видел все, словно через объектив фотоаппарата, в котором выкрутили резкость на максимум. Вот Лубнин опустил глаза и достал из кармана брюк спички Самойлова. Вот он смотрит не мигая на маленький картонный прямоугольник на своей ладони, открывает его, чуть помедлив, чиркает спичкой о шершавый темный бок. Спичка ломается. Лубнин достает вторую, высекает маленький огонек, но тот, дрогнув, тут же гаснет.

«Спички фабрики “Ревпуть” не хотят гореть ничуть», — всплывает вдруг у Саши в голове старый стишок. Он облегченно хмыкает. Тем временем Иван Николаевич Лубнин с искореженным от ярости лицом выхватывает третью спичку и она-то, как всегда, особенная, символическая, роковая, не подводит, разгорается как нужно.

И...

Жаркая вспышка, огненная черта, разделили Сашину жизнь на «до» и «после». Да, не момент отплытия на «Бела Кане» из Одессы, не в порту Буэнос-Айреса, когда они узнали о гибели СССР, и не тогда,

когда, улучив удобный момент, их помполит сбежал, прихватив с собой сейф со всей валютой и паспортами команды. Нет. Черту провела та доля секунды, что потребовалась парадной морской форме Лубнина, облитой керосином, чтобы полыхнуть ярким факелом.

Больше всего на свете Саша хотел бы этого не видеть, вычеркнуть, вырвать страшную страницу, дать времени стереть из памяти библейский ужас публичного самосожжения, но, конечно, о его желаниях никто не спросил и он навсегда запомнил гибель Лубнина в мельчайших подробностях.

Старпом широко взмахнул объатыми пламенем руками, вскинул голову и завыл от невыносимой боли. Большое ширококостное тело его, словно вековой дуб, который только что спилили, вздрогнуло и плашмя повалилось на землю. Он весь горел, и горела трава под ним, один большой костер пожирал руки и ноги, тело, голову, пласты обугленной одежды стремительно съеживались, и огонь набрасывался на незащитную человеческую плоть. Конечности хаотически дергались, по телу шли алые волны, казалось, что его бьет в судорогах. Крик — дикий, рвущий легкие, оглушающий, жуткий крик не переставая лился из него.

Дернулись занавески на посольских окнах, звякнула стеклянная дверь на балконе второго этажа. Будто перепуганные звери из теремка, туда повалили ошеломленные работники дипмиссии. Кто-то заголосил из распахнутого окна в доме напротив. Единственный охранник посольства, местный полицейский, не зная, то ли хвататься за табельный пистолет, то ли за рацию, сначала дернулся было к катавшемуся по земле Лубнину, но потом, виновато оглянувшись на балкон, ринулся обратно в постовую будку вызывать подмогу.

Первым среагировал матрос Марк Дусь. И только после того, как он, громко, отчаянно матерясь, голыми ладонями начал сбивать пламя, шок, сковавший всю команду, отпустил, и Розов с товарищами кинулись на помощь. Тушили всем, что попадалось под руки, сбивали пламя кителями и тельниками. Прибежал кто-то из соседнего дома с кастрюлей воды. Розов слышал краем уха вопли на испанском, из неразборчивой белиберды он понял только: «Агва, агва!».

Лубнин уже не орал, а только глухо выл сорванным голосом. Он лежал на черной выгоревшей траве, весь скрюченный, беззащитный, и даже воздух вокруг него был другим — темным, густым, пропитанным болью и резким запахом паленых волос.

Саша не знал, сколько времени прошло, прежде чем им удалось полностью потушить пламя. Наверное, пара минут, вряд ли больше. Молоденькая, до смерти перепуганная сотрудница, выскочила из посольства, уже когда все было кончено, и сказала дрожащим голосом, что скорую вызвали. Розов во все глаза смотрел на Ивана Николаевича. Одежда его где-то выгорела дотла, где-то свисала с тела обугленными лохмотьями. Павлюк, стыдливо отворачиваясь, прикрыл Лубнина красным советским знаменем. Золотой серп и молот оказались у него на груди.

Розова больше всего поразила кожа старпома. Он почему-то думал, что она должна быть ярко-красной, с проступающими кусками мяса и пузырящимися волдырями. Но кожа, бывшая до этого почти коричневой от загара, теперь стала ослепительно белой. Тут и там прямо на глазах на ней проступали и расползались во все стороны черные уродливые прожилки. Саша вдруг некстати вспомнил, как десятилетним мальчишкой решил впервые в жизни сделать оладушки. Постоянно подглядывая в бабушкин блокнот, в котором красивым округлым подчерком с вензелями, как заклинание, был выведен рецепт, он кое-как замесил тесто и вылил его на раскаленную уже, шипящую темным маслом, чугунную сковороду. Когда он перевернул оладьи, вместо красивой желто-оранжевой корочки увидел неприятно белую поверхность с черными разводами гари. Таким же был и Лубнин. Только кожа в складках на лице осталась нетронутой. Когда он поджег себя, то, видимо, зажмурился от страха и боли, и теперь все его мимические морщины, словно в насмешку над остальным телом, золотились загаром.

Несмотря на весь ужас происшедшего и очевидный болевой шок, старпом был в абсолютном сознании и, кажется, даже пытался улыбнуться. Самойлов смотрел на него огромными потрясенными глазами, которые заполняла тяжелая влага, и повторял:

— Ваня, Ваня, что же ты натворил, зачем...

А Лубнин тихо бормотал что-то утешающее в ответ. Розов разобрал только глухое: «Бать, ну ты чего?.. Теперь им не отвертеться...». Батей Самойлова за глаза звала вся команда. Это же ласковое прозвище вихрем снесло остатки самообладания, и, закусив ладонь зубами, Алексей Иванович Самойлов глухо завыл.

Появился большой белый фургон с красным крестом по бокам и с надписью «Ambulancia», неуклюже протиснулся сквозь толпу к посольству. Следом за ним, завывая сиреной, показался черный, то ли военный, то ли полицейский, автомобиль. К нему тут же метнулся аргентинец-охранник доложить о случившемся. Стонущего старпома погрузили на носилки. Часть команды, в основном палубные офицеры, включая, конечно, Самойлова, пошли за скорой. Но капитан, вдруг опомнившись, обернулся, и, скользнув невидящим взглядом по матросам, спросил:

— Кто старший по званию?

— Кажись, я, — неуверенно, постоянно оглядываясь по сторонам, отозвался второй штурман Василенко.

— Остаешься за главного, — бросил напоследок Самойлов.

Только когда Лубнина уже увезли в ближайший Hospital Rivadavia, Розов заметил, что вокруг оставшихся моряков собралась порядочная толпа. Посольские работники, жильцы из дома напротив, случайные зеваки, полицейские — все галдели на испанском и русском, выясняя друг у друга детали трагедии.

Чуть сбоку в неловком молчании переминалась группа людей, в которых Саша безошибочно опознал земляков. Огромный мужик с бородой-лопатой, напоминающий массивным телосложением то ли былинного богатыря, то ли медведя, наконец, вышел вперед и низким басом произнес:

— Ребята, что тут произошло?

Василенко, все пытавшийся оттереть копоть с рукава, проигнорировал вопрос, и только когда Саша деликатно тронул его за плечо, штурман, испуганно вздрогнув, поднял голову, растерянно моргнул, словно выйдя из транса:

— А, что?

Тогда Розов сказал:

— Мы здесь протестуем уже пятые сутки, мы с сухогруза «Бела Кан», нас бросила зафрахтованная компания, и судно арестовали в порту за долги. Два месяца вот обиваем все пороги: Черноморское пароходство, Аэрофлот, профсоюзы, посольство, а толку — нет. Застраляли мы тут непонятно на сколько, довели нас... до отчаяния, до крайней точки... — Он беспомощно развел руками и нерешительно добавил: — Ну, а вы тут какими судьбами?

— А мы только вернулись со станции «Молодежная», год в Антарктиде исследованиями занимались, — пояснил мужик. — В Буэнос-Айресе неделю будем, а потом в Москву и — по домам. Нас посол пригласил в гости. Я так понимаю, им для отчетности нужны всякие мероприятия культурные, встречи с согражданами...

Дусь только саркастически фыркнул: ага, как же. Но тут хлопнула входная дверь и на улицу вышел уже знакомый морякам Тищенко, помощник посла, которому в понедельник Самойлов вручил ноту протеста и который не казал носа пять дней. Не глядя ни на кого из протестующих, он пошел сразу к полярникам.

— Скажите, это вы — руководитель? Игорь Геннадьевич Петров? — обратился дипломат к бородачу.

— Да, я, — полярник утер пот со лба.

— Ох, — Тищенко театрально обвел топчущихся на месте полярников восхищенным взглядом, и как какой-нибудь мажордом эпохи Шекспира, продекламировал хорошо поставленным голосом: — Товарищи ученые, извините, такое ЧП, такое ЧП, сами понимаете — ситуация из ряда вон, но господин посол вас уже ждет!

Петров замылся в нерешительности, однако Тищенко ловко подхватил его за рукав и повел мягко, но настойчиво.

— Пойдемте, пойдемте, все накрыто уже к обеду, — ворковал он.

Часть группы устремилась следом, но другие заупрямились. Один, высокий и худощавый, с ранними залысинами, решительно замотал головой.

— Вы уж простите, но после всего увиденного у меня как-то пропал аппетит, — прямо и резко сказал он.

— Поступай, как знаешь, Фадеев, — руководитель только устало пожал плечами, — увидимся в гостинице.

На улице остались троица ученых и с десятков моряков. Повисло неловкое молчание.

— Ребята, я так понимаю, вы в тяжелой ситуации оказались? — обратился к морякам Фадеев.

Те угрюмо закивали.

— Так вышло, что у нас до самолета осталась всего пара дней, а сутокных скопилось порядочно. Не хотите ли с нами в бар? Прийти в себя немного? Мы угощаем, — он обернулся на коллег, те закивали — угощаем, угощаем.

Приглашение звучало заманчиво, но Самойлов пьянство и кутеж в барах резко осуждал, а если кто был пойман с поличным — в лучшем случае отправлялся драить гальюны на неделю. Но капитана не было, и все взгляды (тихая мольба и легкий укор) были направлены на бедного штурмана Василенко.

— А, итить-колотить, — махнул он рукой, — идем!

И пестрая процессия, с неясной целью напиться то ли за знакомство, то ли за упокой души старпома Лубнина, не сговариваясь, потянулась в сторону старейшего городского кладбища, вокруг которого, как это ни странно, располагалось множество баров и летних кафе.

Розов — верткий, непоседливый и любопытный, «вечно с шилом в одном месте», как говаривала его бабушка, уже неплохо знал Буэнос-Айрес, по крайней мере, те кварталы, что прилегали к порту. Но Реколету, точнее, ту ее часть, что была занята кладбищем, избегал. Что-то было в этом месте не то, тихая жуть, болотный омут — Розов предпочитал держаться подальше.

И теперь на Сашу словно дохнуло сыростью и холодом, как будто он приоткрыл старую скрипучую дверь в подземелье. Красная кирпичная стена не только отделяла кладбище от города, она была границей между мирами, между жизнью и небытием, и бар «La Biela»,

примостившийся аккурат напротив нее, казался последним пограничным форпостом живых людей перед владениями мертвых.

— Там уникальная атмосфера, вот увидите! — с энтузиазмом вещал один из ученых, низенький, добродушный толстяк в нелепых круглых очках.

Видно было, что жара вот-вот доконает его: пот струями тек по вискам, заливал глаза, повисал крупными каплями на смешно торчащих щеточкой усах, расплзался приливной волной вокруг горловины его футболки и влажными полумесяцами под рукавами. Тем не менее, Ботан (как уже успел громким шепотом окрестить его Дусь), хоть и страдал одышкой, и говорил тяжело, задыхаясь после каждого слова, но не затыкался ни на секунду, взял на себя роль экскурсовода и шел вприпрыжку впереди отряда, благо идти было совсем недалеко.

Уже через пять минут Розов с восхищенно открытым ртом стоял у витрины кафе под громадным, раскинувшим крону во все стороны, метров на пятьдесят, не меньше, деревом. Он никогда в жизни не видел ничего подобного. Ствол, весь в каких-то буграх, узлах и волнистых гребнях, походил на застывшее морское чудище, из тех, что топили каравеллы на желтых от времени средневековых картах. Вся просторная летняя площадка (столов на тридцать, не меньше, прикинул Розов) располагалась в тени его ветвей-щупалец, с которых свисали, будто рыболовные снасти, какие-то чудные лианы. Саша привстал на носках и по-детски ухватил одну рукой.

— Это воздушные корни, — тут же затараторил под боком Ботан. — Являясь придатками, они возникают у некоторых тропических растений и служат в основном для поглощения влаги из воздуха, но, достигая почвы, становятся опорными корнями...

Розов заворуженно смотрел на дивное дерево: чудище будто постарело и оперлось на многочисленные костыли. Он провел пальцами по одному из воздушных корней, еще совсем тонкому и неокрепшему. Видно было, что корень лишь недавно дотянулся до земли, но уже вцепился в нее изо всех сил, сжал почву в кулаке, как самое драгоценное, что у него есть, и никогда больше не отпустит. «Вот как нужно держаться за свою землю, — подумал Розов, — это дерево переживет нас всех».

— Идем, чего застыл, — Марк довольно бесцеремонно дернул его за плечо и тут же зашипел от боли.

— Что с тобой? — удивленно спросил Саша и только сейчас, взглянув на большие мозолистые ладони матроса, увидел и ненормальный лососево-розовый их цвет, и то, что кое-где кожа уже слезала лохмотьями.

— Да, вот, — тот виновато развел руками, — когда метнулся тушить Чифа, сразу-то не сообразил тельник скинуть, так тушил, руками, дубина такая, и обжегся. Ничего, за пару дней пройдет. На мне все, как на собаке, заживает.

Розов потрясенно покачал головой и послушно пошел внутрь бара вслед за Дусем. Там уже вовсю хозяйничали матросы: они сдвигали небольшие квадратные столы в ряд и шустро стаскивали стулья со всего кафе. Русская брань (кому-то уже успели поставить тяжеленный дубовый стол на ногу) и грохот мебели привлекли к новоприбывшим внимание всех посетителей. Розов, окинув взглядом пространство бара, сразу же отметил и резные панели красного дерева, и антикварную мебель, и черно-белые фотографии посетителей кафе (дамы в жемчугах и длинных перчатках, лощеные мужчины в полупрофиль в клубах сигарного дыма). И, конечно, он сразу понял, что компания их на фоне холеных посетителей кафе выглядит как свора портовых грузчиков или же кочегаров, вломившихся в закрытый английский клуб.

Жеманный мелкий официант, роскошными бакенбардами и шапкой вившихся мелким бесом кудрей сильно напоминавший Пушкина, кружился рядом, как танцор на балу, норовя поскорее рассадить шумных гостей. Он распихал каждому по увесистому меню и с щегольским «сеньоры» откланялся и улетел принимать заказ у соседнего столика.

— Эге, приличное какое заведение, — уважительно-боязливо произнес старший механик, которого все на «Бела Кане» звали просто Дедом.

— Да нет, — усмехнулся один из полярников, — просто тут так заведено. Буэнос-Айрес — это же латиноамериканский...

— Париж, — вставил Дусь, — да, мы уже слышали про это. Увидеть Париж и помереть с голоду. Мы же себе здесь даже стакан воды позволить не можем.

Не лезший за словом в карман, Марк выразил их общую отчаянную неловкость от того, что они, взрослые здоровые мужики, второй месяц сидят без гроша в кармане и вынуждены воспользоваться добротой совершенно незнакомых людей. Хорошо хоть соотечественников, спасибо и на этом.

Повисла неловкая пауза, но тут снова нарисовался Пушкин с блокнотом и все отвлеклись. Розов, который за время вынужденной стоянки уже кое-как наблатыкался в испанском, помогал товарищам делать заказ. Моряки, все как один, дружно выбрали пиво, но Фадеев, негласный лидер полярников, заказал еще пару бутылок крепкой граппы и несколько бэндехас — больших тарелок с ассорти холодных и горячих закусок для всех.

Первой рюмкой подняли тост за Лубнина. Павлюк ляпнул было «ну-с, не чокаясь» и тут же схватил крепкого подзатыльника от Василенко.

— Не хорони раньше времени.

Все опять тяжело замолчали. Дед, хэкнув, потянулся наливать по второй.

— За знакомство! — произнес Фадеев и начал с себя. — Владимир Фадеев, старший научный сотрудник киевского НИИ метеорологии и климатологии.

— Вениамин Адамович Фельштинский, — тут же важно представился Ботан, — доцент кафедры физической химии в КПИ.

— А меня Леха зовут, — вклинился Василенко.

Произошла быстрая перекличка: имена, звания, должности. Выпили по третьей за дружбу. Граппу запивали пивом, закусывать пока было нечем. Розов с досадой ощутил, как заалели его щеки. Он быстро хмелел. Тут снова нарисовался Пушкин с массивным подносом на плече, заставленном тарелками с вожденной едой. Не заметив, он задел длинную палку, приставленную к стене, и та со всей дури грохнулась на соседний стол, вызвав вопль ужаса у пожилой интеллигентной пары, но, по счастью, никого не зацепив и ничего не разбив.

— Павлюк, — удивленно обратился к нему Розов, — а ты зачем ее сюда притащил?

— А я не знаю, шо ж, ее бросать было?

Перепуганный Пушкин спросил у Розова, как у единственного, кто хоть что-то понимает по-испански, что, черт возьми, это такое. Кое-как, помогая себе жестами, Саша объяснил, что это от их флага.

— Ruso? Union Sovietica?

— Si.

Дальше с каким-то, показавшимся Розову обидно-оскорбительным, смешком, официант выдал фразу, которую Саша перевел затихшим товарищам примерно так:

— А нахера вам флаг, если страны больше нет?

Возле отделения экстренной помощи госпиталя Ривадавия было не протолкнуться. Самойлов мельком подумал, что местный контингент выглядел даже хуже брошенных моряков. Но Ирочка, молоденькая переводчица советского посольства, из сострадания увязавшаяся за офицерами, открыла ему глаза на аргентинские реалии: возле больниц легче всего бомжевать.

— Тут тебе не только медицинскую помощь в случае чего окажут, но и бесплатный туалет, и вода питьевая, и чайем в холода разжиться можно, и в приемном отделении телевизор посмотреть или подремать на стуле, — щебетал звонкий голосок, — но на ночь, правда, все-таки выгоняют.

Алексей Иванович скорбно вздохнул. Он понимал, что переводчица просто объясняет ему происходящее, но сейчас это больше походило на мрачное пророчество для всей команды «Бела Кана». Вот что всех их в конечном итоге ждет: чтобы не помереть с голоду, придется побираться на улице.

По дороге к госпиталю Ирочка, в узкой юбке-карандаше и на высоких каблуках, умудрялась не только шагать быстрее всех, но и не замолкала ни на секунду, слова из ее хорошенького, бантиком, рта вылетали пулеметными очередями. Она несколько раз повторила, что «Лубнину очень повезло самосжечься именно в Аргентине, ведь тут тоже полностью бесплатная медицина, да-да, товарищи, прям как

у нас». Ривадавия, построенная изначально для туберкулезников, была настоящей аргентинской гордостью, старейшей больницей в стране.

— Да уж, — мрачно заметил Самойлов, потрясенно оглядывая не только скопище бомжей прямо у парадного крыльца, но и откровенно обшарпанный, облезлый фасад когда-то действительно красивого, выстроенного с размахом здания. — Все как у нас.

Внутри больницы царил такой же хаос, что и снаружи. Единственное, что отличало ее от, скажем, петербургского или одесского госпиталя времен перестройки, — вывески на испанском и бойкая иностранная речь. Моряки бы вовек не разобрались здесь, что к чему, и не нашли бы Лубнина, если бы не Ирочка. Та шустро протиснулась сквозь возмущенную очередь к регистратуре, дернула нескольких теток, те долго, под яростными взглядами ожидающих, звонили куда-то, что-то с жаром выясняли, после чего переводчице, наконец, выдали бумажку с координатами, и вся компания двинула за Ирочкой по крытой галерее в хирургический корпус.

Лубнина оперировали, сколько это продлится, никто точно сказать не мог. Ирочка, извинившись, умчалась обратно в посольство. Самойлов, быстро оценив обстановку, отправил остальных офицеров на судно. Возражения тут же пресек. Нечего им всем тут торчать. Это он — капитан, ему и ждать, и разбираться. Новости по возможности сразу же сообщит. Команда, ворча и вздыхая, отправилась восвояси, а Самойлов тяжело опустился на лавку. Промокнул платком испарину на лбу.

О том, что старпом планировал самосожжение перед советским посольством, никто, конечно, не знал. Пять дней назад, утром понедельника, капитан собрал весь экипаж «Бела Кана» в кают-компании и объявил, что они отправляются к посольству на бессрочный пикет. «Будем стоять до последнего», — решительно добавил он.

Аргентина, состоящая сплошь и рядом из итальянских и испанских эмигрантов, жила протестами и забастовками, их тут устраивали по любому поводу. Самойлов наблюдал и страстные пикеты профсоюзов у парламента, на которых с рупорами и транспарантами толпились крикливые работяги с вечно небритыми, словно высеченными

из гранита лицами, и уютные, почти домашние манифестации тихой subtilной интеллигенции. Последние забавляли капитана особо. Обычно пикетчики стеснительно стояли с кривоватыми самодельными плакатами, плавно раскачиваясь из стороны в сторону, как морские водоросли, а в разгар долгой послеобеденной сиесты сразу забывали, зачем собрались, и уползали от памятника очередному усатому вояке на коне в тенистый сквер: лениво подремать на лавке, почитать Кортасара или разыграть партию в шахматы.

«А чем мы хуже?», — рассудили тогда на советском судне. Они ведь и правда долго терпели, сказалося, видимо, менталитет и рудиментарный, передаваемый из поколения в поколение, страх: не высывайся, не выступай — арестуют, репрессируют, следов потом твоих на Колыме не отыщешь.

Последней каплей стало то, как грубо отказал им в соляре югославский танкер. Целый танкер, груженный топливом под завязку, да и кто, не немцы, не американцы, даже не евреи, а наши же, считай, ребята. Они даже не захотели связаться с руководством в Риеке.

Почти два месяца ушло даже у Самойлова, которому капитанский чин, давал как-никак, право руководить всеми и в первую очередь собой, на то, чтобы действительно осознать: СССР больше нет, ни де факто, ни де юре. Беловежские соглашения подписаны. Страна, из которой они уплыли в августе, сверхдержава, империя, одна шестая суши, исчезла с политической карты мира. Они с югославами теперь друг другу, по сути, никто.

Что ж — соорудили плакаты, сняли с кормы самый большой на борту советский флаг, с трудом отыскали подходящий флагшток. Офицеры надели парадную форму. Повариха Наталья Михална, как мать-наседка, все обеспокоенно причитала — возьмите хоть бутербродов на дорожку. Но Самойлов резко сказал: «Отставить, мы не в турпоход идем. Команда уже позавтракала, до ужина как-нибудь продержимся». Когда выходили с территории порта, чилиец Мигелито, старый сторож-пьянчужка, с которым моряки уже успели крепко сдружиться, заметил их гордую процессию с красным флагом, выскочил из своей будки, вытянулся в струнку и, сотрясая крепко сжатым кулаком воз-

дух, в сердцах заорал: «Venceremos, comrades!», а потом хриплым басом грустно затянул им вслед:

*Sembraremos la tierra de gloria;
socialista será el porvenir,
todos juntos haremos la historia,
a cumplir, a cumplir, a cumplir.
Venceremos, venceremos...*

*Не страшна палачей сила злая,
Мы не дрогнем в борьбе роковой.
Пусть гремит, к алым стягам взывая,
Этой песни напев боевой!
Мы победим, мы победим...*

Самойлов, сам себе удивляясь, гимн чилийских социалистов сразу узнал, вспомнил Сальвадора Альенде, расправил плечи. Вот он, пример того, как надо бороться и как надо умирать за свои идеалы.

К посольству шли неторопливо и чинно почти целый час. На улицах процессия привлекала внимание. Еще бы, рассудите сами, двадцать человек шагающих строем в форме торгового флота СССР с плакатами и красным флагом наперевес. С флагом, так хорошо знакомым всем и каждому в мире, флагом сверхдержавы, которой больше нет. Их вынужденный протест подло и нелепо, как думал Самойлов, совпал по времени с карнавалом. Отовсюду, из каждого динамика, из каждой приоткрытой двери кафе, да и просто из городских скверов и площадей неслась музыка, то веселая, то рыдающая. Аргентинское танго переливалось всеми оттенками страстей, но преобладала в нем все же какая-то близкая лично капитану тоска. Было жарко, моряки изнывали в тяжелой, сковывающей движения, удушающей форме, особенно нелепо это смотрелось на контрасте с местным населением, одетым в короткие шорты и легкомысленные воздушные сарафаны.

Шли, где вереницей, где строем по два человека, старались печатать шаг, но постоянно сбивались с ритма из-за вездесущей музыки. Кар-

навал в городе был повсеместно, тут и там школы танго устраивали милонги прямо посреди площадей, собирая десятки пар (женщины в драматично ярких красных и белых платьях, мужчины всегда в траурном черном) и сотни зевак. Шаг вперед, два назад, выпад, разворот — аплодисменты. Карнавал придавал их шествию какой-то совершенно новый театральный оттенок. Капитан то и дело слышал развязные окрики за спиной, им свистели, махали руками, иногда к процессии цеплялась задиристая уличная шпана — малолетние хулиганы пристраивалось то в хвосте, то забегали перед Самойловым и, пародируя моряков, шли с ними какое-то время, маршируя и корча рожи.

Советское посольство располагалось в самом роскошном районе Буэнос-Айреса, в Реколете. Оттого, наверное, шествуя по широким нарядным улицам и проспектам, минуя старинные особняки, выстроенные с французским шиком и роскошью, моряки чувствовали себя еще более неловко и неуместно. Буэнос-Айрес здесь был больше похож на Париж. Алексей Иванович в Париже не был, но все говорили, что похож, и он верил.

В роскошных особняках Самойлова поразили открытые огромные окна в пол: он с удивлением думал, что можно просто переступить через оконную раму и оказаться в чьей-то комнате. Это было дико и непривычно. В богато обставленных гостиных и салонах ярким золотым светом горели хрустальные люстры. «Какое расточительство, — думал Алексей Иванович, — палить свет среди бела дня. А нам на судно да хоть бы на час в день электричество заполучить!»

У парадных дверей особняков за высокими витыми чугунными оградами плескали, бурлили и лепетали фонтаны, такие близкие и недостижимые одновременно. В них купались и ворковали голуби. От страшной, непривычной, душной жары моряки то и дело облизывали потрескавшиеся, как земля в засуху, губы. Рот болезненно пересыхал, казалось, даже слюна пропадала. Отчаянно хотелось умыться, засунуть голову под бьющую прохладную струю, но шансов не было, это все были миражи, какие являются умирающему от жажды путнику в пустыне.

По пути пришлось оглянуть огромное старинное кладбище Реколета с северной стороны. Что-то тогда почудилось Самойлову странное,

недоброе в длинных тенях, которые молчаливый погост отбрасывал на их процессию. На богатых, с размахом выстроенных усыпальницах возвышались каменные статуи ангелов. Все они стояли к морьякам спиной, отвернувшись, понурились головы и сложив роскошные крылья. Когда Алексей Иванович взглянул на скорбную скульптуру снизу вверх, ангел загородил от него солнце. Ставшая вмиг черной статуя была окружена ореолом света. Самойлову, вдруг похолодевшему внутри, привиделся в этом дурной знак.

Но вот, спустя бесконечно долгий час, они добрались до посольства. Располагалось оно в небольшом опрятном особняке, стиль которого тут же напомнил Самойлову многие дома на Фонтанке. Теперь, глядя на советское посольство, капитан испытал прилив радостного узнавания, будто встретил случайно старого друга детства, жившего когда-то очень давно на соседней улице.

На звонок дверь особняка открыл молодой остроносый сотрудник.

— Я — дипломатический атташе, сегодня на дежурстве, моя фамилия Тищенко, — быстро бегая цепкими глазками по лицам прибывших, представился он, — а посла нет. По какому вы вопросу?

Самойлов по всей форме вручил ему ноту протеста и попросил передать послу, что моряки не двинутся с места, куда их требования не будут выполнены. Атташе послушно кивнул и едва заметно хмыкнул. Он хотел было уже скрыться внутри здания, но вдруг словно наткнулся на невидимую стену, постоял секунду, развернулся и обратился к пикетчикам:

— Вы вообще понимаете, что сейчас творится? Вон, у нас советский флаг еще даже не сняли, потому что российский не привезли. Посла не сегодня-завтра могут отозвать в Москву. Ходят слухи, что советский МИД сейчас разгоняют — кого принудительно на пенсию, кого — в неоплачиваемый отпуск. России столько дипломатов, сколько было в СССР, не нужно, да всех и не прокормить. Нам, что ни день — противоположные директивы из центра приходят, там сейчас полный хаос и неразбериха, вы понимаете это?! Мне самому, нам всем уже третий месяц зарплату, считай, не платят, выдают деньги только на продовольствие! — Раскрасневшийся атташе гневно выдохнул и, словно ра-

зом сдувшись, уже устало и тихо добавил: — А еще вы тут, поди, сборная солянка из всех республик, со своим протестом. Если посол кем и займется, то только гражданами России, так и знайте!

Моряки разъяренно загудели, но скользкий Тищенко уже исчез за массивной дверью. Самойлов белыми от ярости губами приказал растянуться цепочкой вдоль здания и начал скандировать: «Позор!». Дружный хор подхватил...

Больше из посольства к морякам никто не вышел. Капитан иногда вглядывался в окна особняка, поначалу даже приветливо открытые, но вскоре после начала речевок, кричалок и скандирований — гулко захлопнутые какой-то недовольной женщиной. Тяжелые, наглухо задернутые, не пропускавшие свет шторы стояли неподвижной стеной — как-то нелепо, неестественно, будто и не шторы это были вовсе, а придвинутая к окну мебель.

Чтобы как-то справиться с дремотой жаркого полдня, Самойлов развлекал себя тем, что долго и вдумчиво изучал деталь за деталью здание посольского особняка. Иногда, когда солнце особенно немилосердно пекло голову, дом начинал казаться ему живым, и капитану мерещилось, будто посольство отгораживается, пятится в сумрак, во тьму, стремясь остаться незамеченным. И постепенно из хорошего знакомого, почти своего, родного, дом этот стал для Алексея Ивановича размытым желтым пятном. Они были совсем чужие друг другу, хоть и старались гордо держать один и тот же красный флаг.

Моряки привлекали к себе внимание зевак. То какая бабка любопытная остановится и спросит что-нибудь, то мужик из дома напротив в растянутой майке, лениво курящий на своем балконе, крикнет что-нибудь ободряющее. Час тянулся за часом, матросы очень хотели сесть, примоститься в тени дерева, но раз Самойлов стоял, то и им нельзя было проявлять слабость. Ближе к ночи, когда посольские уже разъехались по квартирам и улица опустела, стало ясно, что пикет их провалился. Только тогда Самойлов сказал:

— Пока возвращаемся на судно на ночевку. Завтра с утра вернемся.

И они вернулись. Но во вторник ничего не поменялось. Такой же долгой и молчаливой была среда. Четверг пролетел уже почти незаметно.

Пикетчики примелькались, никто больше не обращал на них внимания, и только упрямство Самойлова не давало им признать полное поражение. Они будто ждали чего-то, все надеялись на чудо. Сердобольная донна из дома напротив пару раз выносила им кастрюлю белого риса и черные тушеные бобы. Моряки с благодарностью ели. Бегали к ней же в квартиру на первом этаже попить воды и в туалет. Они быстро дичали. А потом наступила пятница, и Лубнин, наконец, решился.

Воспоминания Самойлова прервала открывшаяся дверь операционной. Вышел уставший хирург, маска свисала у него с одного уха, под глазами лежали глубокие тени. Врач говорил немного на английском, как-то они сумели объясниться. Он показал капитану палату и пообещал, что Лубнина привезут туда сразу после перевязки. Когда Самойлов, нетерпеливо меривший крошечную комнатушку без окон шагами, увидел на каталке своего старпома, то обомлел.

Все самое страшное Самойлов помнил черно-белым, будто военную хронику или немое дореволюционное кино. Зимой сорок второго мама отправляла его на поляню за водой. Прорубь была возле Невского, а жили они в знаменитом ленинградском «Доме с ротондой» на углу Гороховой и набережной Фонтанки. Летом от дома до Невского Леша добежал бы минут за пятнадцать, но зимой, изможденный голодом, он волочил санки час, а то и более. Дорога казалась бесконечной.

Каждый шаг приходилось отвоевывать, идти было невыносимо, так трудно, будто ступаешь по вязкому дну. Леша часто представлял себя Садко в подводном царстве, и вокруг все такое неживое, зыбкое, и проплывают мимо люди-рыбы с открытыми ртами и вытаращенными глазами. Белый-белый снег, черные силуэты людей и страшная гробовая тишина. Умиralи тогда молча, без стонов и криков. Засыпали и не просыпались. Падали прямо на улицах, вмерзали в землю, тела неспешно заметало снежной крупой. Большой сугроб — взрослый, маленький — ребенок. Су-гробик. Леша старался обходить их стороной. Но как-то сил уже совсем не было, и он протащил санки совсем рядом, из-под сугробика торчала одна только маленькая красная варежка. Ва-

режку эту он не мог забыть всю жизнь, как ни старался и сколько бы ни пил.

И теперь, как тогда зимою, лежал перед ним на каталке человеческий сугроб. Весь белый, весь с ног до головы перемотанный бинтами. Даже глаз не видно. И только там, где по идее у живого человека должен быть рот, торчит трубка и тянется к кислородному баллону. Самойлов мальчишкой в блокаду почти не плакал, сил на это не хватало, но тут не сдержался — глухо, совсем уж по-старчески, зарыдал.

Очередной взрыв хохота вывел Розова из оцепенения.

— Так Фройхен сделал зубило из собственного говна? — потрясенно переспросил Василенко.

— Ага, — сквозь слезы кивнул Вова Фадеев, — если бы в той ледовой пещере были еще и палки...

— Из говна и палок! — хрипло проорал на все кафе уже готовый после бутылки граппы Дед. — Я таким же макарон все на «Бела Кане» чиню!

Моряки прыснули. Полярники травили байки об арктических приключениях какого-то датчанина. Если верить Фадееву, он сперва чуть ли ни голыми руками одолел полярного медведя, потом уснул под нартами в походе, сани за ночь замело снегом, который к тому же смерзся, так что когда мужик проснулся, то оказался в ледовом плену. Чтобы выбраться наружу, он нагадил, слепил из тепленького говна инструмент и, когда тот застыл и затвердел, проковырял им себе путь на свободу. Пока горе-авантюрист шел к своим в лагерь, он обморозил пальцы на ногах, началась гангрена. Но смельчак вновь не растерялся и сам ампутировал себе зараженные пальцы с помощью молотка и плоскогубцев.

Саша не поверил ни слову этой белиберды, только качал головой, глядя на веселые лица вокруг. Подумать только, Лубнин всего какой-то час назад публично пытался покончить жизнь самоубийством, а его команда уже ржет над бредовым анекдотом. Но вот полярников-то можно понять.

Люди год отсидели на антарктической станции, а это и экстремальный холод, и полгода полярной ночи, и осточертевший до колик

коллектив, хочешь — не хочешь, а нужно уживаться, и опостылевшее, хуже смерти, однообразие, от которого никуда не деться. Это они-то, моряки, любят иногда жаловаться гражданским, как трудна и неказиста жизнь и работа на судне, никакой тебе книжной романтики, одна суровая правда морских будней. Но каково тогда полярникам, которые тоже, поди, в профессию шли за экзотикой и по зову сердца. Каково им год торчать на крошечной станции, оторванными от всей планеты? Это же как в космосе на орбитальной станции болтаться посреди бесконечного темного пространства.

Розов понимал, что полярники только-только выбрались из лютой зимы и сразу попали в Буэнос-Айрес, в торжество и пиршество жизни, в буйство природы, в жару, в город, полный цветущих деревьев, смеха, гомона, аромата свежей выпечки. Они попали в солнечную столицу, где нет очередей и снега, где по улицам не ходят, а порхают стройные загорелые девичьи ножки в умопомрачительно коротких юбочках-разлетаиках. А уже через пару дней им предстоит лететь домой. И там, в Москве, Киеве, Минске, — да куда бы они ни возвращались, — еще стоит такая же лютая беспросветная зима, которая сменится затяжной серой слякотью и грязью.

Конечно, они наслаждались каждой минутой в Аргентине, и самоожжение Лубнина было для них, положила руку на сердце, всего лишь досадным инцидентом, свидетелями которого они нечаянно стали. Да, Фадеев повел себя по-рыцарски, отказавшись от пиршества в посольстве. Но ученые всеми силами хотели выдавить Лубнина из коллективной памяти, оттого, возможно, они так активно подливали морякам виноградную водку, подсовывали еду и травили байки. Им всем, особенно в эту короткую райскую неделю отпуска, отчаянно хотелось радоваться, наслаждаться полнотой жизни. Лубнин же с его запредельным поступком так выбивался за общепринятые рамки, что (Розов был уверен, что никто никогда вслух в этом, конечно, не признается) инстинкт самосохранения изо всех сил вытеснял горящий человеческий факел из сознания, запрещал даже жалеть самоубийцу, не говоря уже о том, чтобы представить себя на его месте. Никто не хотел оказаться на его месте.

Дусь, сидевший аккуратно напротив, бездумно колупал ногтем какую-то чудную деталь, вырезанную на спинках всех стульев в кафе.

— Что это ты ковыряешь? — желая отвлечься от грустных мыслей, спросил его Саша.

— Шатун, шо ты, не узнал? — Марк, как всегда, когда кто-то попадал впросак, ухмыльнулся. — Соединяет в машине поршень и шейку коленвала.

Саша водить не умел, и лишнее об этом напоминание оптимизма ему не прибавило. Как же он иногда злился и завидовал таким, как Дусь, простым крепким мужикам, которые играючи могли и калаш с закрытыми глазами собрать/разобрать, и отжаться с хлопками от пола пятьдесят раз, и в моторе покопаться. Из задумчивости его выдернула краем уха услышанная реплика Фадеева.

— ... так он тогда почти три года шатался вокруг всей Арктики, прошел через ледовый щит Гренландии, поверху Канады и Берингов пролив...

Слова эти сигнальной ракетой взорвались в голове у Розова и в один момент вывели его из оцепенения.

— Что-что? — переспросил он, сам удивляясь, как хрипло прозвучал его голос, всем корпусом нависая над столом.

— Прошел через Канаду и Берингов пролив, — механически повторил Фадеев.

Розов, чувствуя, как в голове океанским прибоем шумит алкоголь, со всей силы впился зубами в нижнюю губу, надеясь, что боль хоть немного его отрезвит.

— Ты сказал: перешел по льду?

— Ну да, еще на собачьих упряжках, — беспечно пожал плечами Фадеев. — А что тебя это так волнует?

Розов вновь посмотрел на маленький шатун, вырезанный на каждом стуле, и фрагменты безумной затеи, не дававшей ему покоя, наконец сложились в целое.

— Я, — Саша замялся, глядя в пол, не решаясь произнести то, что мучило его уже больше месяца, вслух, боясь, что товарищи его засмеют, — я думал о том, как вернуться домой.

Он начал загибать пальцы на руках:

— Документов у нас нет, денег тоже, никому мы тут даром не нужны. Я думал, почему бы не поехать вверх по материк у автостопом и попробовать проходить границы нелегалом? Я разговаривал с местными — это не должно быть слишком сложно, в основном тут наплева-тельски относятся к границам, не так, как у нас... было. Но даже если я доберусь до США, дальше-то что? И там, и там — океан, шансов его преодолеть у меня нет. Но когда ты упомянул лед, я вдруг подумал...

— Берингов пролив! — радостно заорал Фадеев. — Ну, конечно. Ты бы мог пройти через Берингов пролив зимой. В январе-феврале там лед обычно замерзает и встает. Естественно, проблем хватает: сильные течения, и лед ломается, тебя может унести на льдине в открытый океан, и тогда — прощай, дружок. Но шансы есть. Еще там бегают вечно голодные белые медведи, касатка может принять тебя за добычу и выпрыгнуть на льдину — тогда гарантированно пиши пропало. Если быть уж совсем откровенным, я никогда не слышал о том, чтобы такой переход по льду был задокументирован, но байки-то ходят разные.

— Вообще-то, если верить антропологам, то именно через Берингов пролив, который тогда был Беринговым перешейком, первые люди и попали в Америку из Сибири. Перебрались на Аляску в разгар ледникового периода и, таким образом, спустившись с севера на юг, расселились по двум континентам, — вклинился в разговор человек-энциклопедия Фельштинский.

— У меня есть шансы, — замороженно произнес Розов.

— Да какие там шансы, — хэкнул старший механик. — Эге, да ты, братец, явно перебрал. Ты вообще представляешь себе степень идиотизма собственной затеей? Отсюда до Штатов сколько границ будет, штук шесть-семь не меньше?

— Девять, — хмуро вставил Розов, уже рисовавший на судовой карте мира предполагаемый маршрут.

— Тем более! И все ты собрался проходить нелегалом? А если тебя поймают? А если откроют огонь на поражение без предупреждения? А если еще что случится по дороге? Не ходите, дети, в Африку гулять, знаешь такое? Тут тебе — где военная хунта, где госпереворот, наркотрафик через весь континент прет, дикари, пигмеи там всякие, никто по-рус-

ски слова не скажет, ты по-испански не шибко-то «абла». И вообще, как ты выживать будешь по дороге — без денег, без документов, без друзей и знакомых, без связи, без знания языка, без всего?! И это мы только про дорогу до США говорим, где граница охраняется ого-го как, где каждый день мексиканцев-нелегалов пакуют пачками, где стрельнуть паршивого мигранта — как высморкаться, где у каждого ковбоя по два револьвера из штанов торчит. Понимаешь, о чем я? И это мы еще даже не дошли до твоего этого пролива. А что вы все замолчали? — Дед обвел осуждающим взглядом притихший после его страстной тирады стол.

Молчали действительно все.

— Угробить мальчонку мне захотели? А я не дам!

Стармех саданул кулаком по столу со всей дури. Пушкин испугано зыркнул на них от барной стойки.

— Что вы сказок-то ему понарасказывали, епона мать?! Как он Берингов пролив пройдет-то? Его в первые же сутки медведи задерут, если он сам до этого под лед не бултыхнется. Ты, Саша, не дури, ты парень с головой, посиди спокойно, подожди, Самойлов добьется справедливости. Батя, он такой, удар держать привык, в беде не бросит. Ну, может, год мы тут и проторчим, но потом-то точно на самолете домой улетим.

Кто-то согласно крякнул, народ послушно закивал. Саша с ужасом почувствовал, как жар приливает к щекам, выдавая его смятение и стыд. Он заерзал на стуле, стало невыносимо душно, в легких не хватало воздуха. Ему было страшно неловко под всеми этими молчаливыми, сочувствующими взглядами. Меньше всего на свете ему хотелось, чтобы его жалели, будто наивного дурачка. Он глянул на спасительные часы. Было без двадцати четыре.

— Ой, — всполошился Розов, — я же на смену в ресторан опоздаю! Засиделся я с вами, мне пора.

И, не глядя ни на кого, он постарался как можно аккуратнее выбраться из-за стола, чтобы не сшибить чего по дороге. Скомкано попрощавшись, он убежал, успев услышать, как Дед сокрушенно жаловался кому-то:

— Ох уж эти романтики-мечтатели, и что у них только в голове творится...

Но Розову было уже плевать, что там думал и говорил про него стармех, вся команда, да хоть и весь город! Он сорвался на бег — кратчайшая дорога к порту вела через железнодорожное полотно. Там он запоздало заметил тревожно мигающие красные огни семафора, услышал гудки приближающегося поезда, но не остановился, а наоборот, словно стремясь доказать что-то оставшимся в баре товарищам, с какой-то сумасшедшей юношеской удалью махнул через пути наперез идущему на полной скорости составу.

Его окатило жаркой волной, огромная пышущая махина дохнула на него разъяренным драконом. Лицо обдало потоком горячего воздуха, резко пахнущего мазутом и креозотом. Краем глаза где-то высоко и сбоку он заметил белое пятно — лицо машиниста. Злой гудок прошел по телу электрической волной. Розов зацепился пальцами за шершавый край перрона и по-обезьяньи ловко забросил себя на спасительный остров к толпившимся пассажирам.

В первые мгновения он даже не почувствовал, что до крови ободрал руку. Рельсы за спиной дрожали и выгибались под тяжестью несущегося состава — Розов проскочил перед тепловозом за считанные метры. Теперь Саша вздрогнул, вся жизненная энергия, сжавшаяся было в тугую зудящую точку в центре груди, неторопливо растекалась обратно по телу. Ладони и ступни легко, щекотно покалывало. Пронесло. Смерть лишь потрепала его за ухо и умчалась дальше по своим делам. Не обращая внимания ни на ругань вслед, ни на испуганные оханья, он отряхнулся и потрусил вперед к порту. В голове стучала одна-единственная мысль: «Это возможно! Я могу добраться до Одессы. Я перейду Берингов пролив по льду. Я вернусь домой!».

Глава 2

Океан в лунном свете искрился, мерцал яркими всполохами, казался живым, таинственным, волшебным. Стоял полный штиль, и Розову